

Борис Хургин

# НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ САГА об «айви лиг», «батендауне» и перламутровой пуговице с четырьмя дырками

В самый разгар трагикомично-безалаберного царствования монарха, который умудрился, не нашив для своих подданных достаточного количества штанов, запустить одного из них в космические дали, во времена скротечного отцветания дистрофичных надежд, во времена построенной на научной основе кампании срезания кожаных наклеек с джинсов и курток, в те времена, когда кукурузный початок чуть было не наградили орденом трудовой славы первой степени, мой старый приятель нигилист и пьяница Леша Копейкин, варьируя магнитно-непреодолимую детскую-юношескую тягу к непостижимому миру, спрятавшемуся за Атлантикой, сказал примерно следующее: «О'кей, стариочек: добрались мы до Нью-Йорка. Идем по Пятой авеню. Вокруг миллион человек, и все в «батендаунах».

В те недоступные взору, но все же прекрасные (а что в юности не прекрасно?) времена, на что такое «батендаун» в Москве знали примерно двести человек. Гораздо позже вошло в русский язык невесть кем произведенное слово «батник», обозначающее мужскую или женскую рубашку, обязательно приталенную (то, что в Америке называется «фиттил шорт») и обязательно с планкой. Не нужно быть лингвистом, чтобы понять, какое слово породило этот нелепый батник, который сейчас фигурирует даже в отрывочных талонах, выдаваемых новобрачным для приобретения дефицита накануне церемонии, посвященного созданию очередной ячейки монолитного общества.

Итак, исходным словом для обозначения предмета вожделения молодоженов был «батендаун», или, говоря швейнотехническим языком, рубашка, у которой концы воротничка пристегиваются. Такую, кстати, в свое время носили основатель соцгосударства и первый поэт этого же государства. В самом этом фасоне нет ничего правильного или неправильного, левацкого или консервативного; он настолько распространен, что ровным счетом ничего не значит.

В те времена, о которых идет речь, две пуговицы на концах воротника и, желательно, еще одна сзади, на шее, значили очень много. Эти пуговицы, обязательно перламутровые, обязательно с четырьмя дырочками для пришивания, были символом нонконформизма и зыбкой в своей неопределенности мечты о прекрасной стране моста Голден-Гейт в Сан-Франциско и Эмпайр-Стейт билдинга, Дэйва Брубека и Майлса Дэвиса, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральда, автомобиля «Студебеккер» и жевательной резинки «Риглиз», Скотта Фицджеральда и Джерома Сэлинджера.

Даже в сверхдемократичной (в бытовом плане) Москве, в общем-то, не принято здороваться с незнакомыми людьми, особенно на улице. Но две пуговицы и восемь дырок, просверленных в этих пуговицах, служили чем-то вроде визитной карточки, вроде знака масонской ложи, и незнакомые люди, выделяя «своего», поднимали правую руку и говорили внешне небрежно, но чуть ли не с наслаждением: «Хай, гай!» Эти ненормальные называли друг друга «штатники», и их легкой рукой слово это тоже стало общеупотребимым, успев обратиться производными, такими как «штатский» или — повульгарнее — «штатовский». В описываемые времена прилагательное «штатский» употреблялось обязательно со значением превосходной степени — очень хороший или «такой хороший, что может быть только американским».

Орден «штатников» возник совершенно стихийно, в разных концах большого города, а чуть позже — огромной страны, но подчинялся он не писанным, обязательным для всех, но никем не сформулированным законам. Далекий от всякой мистики, я объясняю это не телепатией, а духовными флюидами Америки, проникшими даже через железобетон «железного занавеса» и чугунные установки идеологических инстанций.

Батендаун был главным символом ордена, но далеко не единственным. Обязательным для подражания считался не исчезнувший в Америке и по сей день «традиционный стиль» или, как мы его по варварскому неведению называли, — «айви лиг». Этот термин требует пояснения. Он означает не зафиксированную на бумаге общность духа, стиля и традиций лучших американских университетов востока страны, таких, как Гарвард, Йель, Дартмут, Корнелл. Стенфордский университет тоже сверхпрестижен, но он не «айви лиг», и только это уже придает налет провинциальности одному из лучших университетов Америки. Стены вышеперечисленных «ВУЗов» традиционно увиты плющом — по-английски «айви». Отсюда и имя — «лига плюща». Остается только гадать, кто завез это название в страну Советов, но распространение и славу оно получило не менее громкую, чем у себя на родине.

В наши представления об атрибутике «айви лиг» входили широкие и длинные пиджаки с узкими лацканами, с обязательной двойной строчкой и прошитым определенным образом (буквой Г) разрезом, широкие брюки (летом белые) обязательно с узкими манжетами, белые или зеленые плащи реглан, застегивающиеся до ворота, кепка с пряжкой сзади или шляпа с широкой лентой и узкими полями, туфли на толстой подошве с у-образным орнаментом спереди (так называемые «разговоры») или просто с перепонкой поперек — «инспектор», носки с синим или красным кантом, банлоновые (увы, тогда никто не знал, что это вредно) рубашки с обязательным дожившим до сегодня крокодильчиком, зонтики с массивной рукояткой и даже — к ужасу стиля того времени — тонкие галоши, надевавшиеся на туфли на манер перчаток. В эпоху начала буйства синтетики, когда пресловутая «болонья» стоила сто рублей, а нейлоновая сорочка — сорок, невозумимые «штатники» в неизменных белых «коттоновых» плащах и хлопковых рубашках в немыслимую клетку проплывали мимо суетливых модников, как королевские фрегаты среди рыбачьих фелюг.

Не обязательной, но желательной считалась и определенная прическа, а именно «кру-кат» — так в американской армии стригли солдат и матросов: короткий ежик. При всей своей незатейливости, у хорошего парикмахера этот шедевр стоял (по тогдашним ценам) пять рублей. Толкуйте после этого о плановой экономике. Спрос диктует предложение — не отменяемый никаким марксизмом закон.

Не имея возможности выписывать тряпки от «Сакса» или «Брукс Бразерс» и в силу ограниченных ресурсов «черного рынка», московские штатники решили проблему в семейном кругу. Знаменитый портной Фили в Нью-Йорке был бы миллионером. Он шил лучше, чем шьют на Пятой авеню. Он умудрялся доставлять «настоящие» пуговицы, молнии, даже нитки, но стоило это дороже, чем в кремлевском ателье, а записываться нужно было за месяцы вперед.

Непонятно откуда появив-

шиеся умельцы кроили шляпы, шили обувь, и все это делалось не только с профессионализмом, но — не побоюсь употребить это слово — с любовью. Филя ни за какие деньги на свете не стал бы шить клиенту, появившемуся у него в итальянском костюме или, не дай Бог, в узких брюках. Кастовость блузась неукоснительно.

Серьезный читатель, далекий от тряпичной романтики, может поморщиться от дифрамбов пуговице с четырьмя дырками, но нас объединяла не штатская упаковка, а наше отношение к этим предметам культа, и через них — к первооснове, в чей здоровый дух, в чью символику и в чье обещание мы свято верили.

Кроме обладания белыми штанами, настоящий штатник должен был знать английский язык, и не просто знать, но знать хорошо, и не просто английский, но обязательно американский. С человеком, говорившим «трэм» вместо «стрит-кар» или «фром» вместо «фрам», — переставали здороваться. Знание языка открывало лазейку в мир чужой, и более того, запретной культуры, лазейку, которой мы с жаждостью и охотой пользовались.

Да простит меня Василий Павлович Аксенов (писатель, которого я уважаю), мы не читали «Звездный билет» и «Апельсины из Марокко». В круг нашего чтения входила невообразимая смесь — было не до выбора, — но рядом с «Любовником леди Чаттерлей» в этом списке появлялась «Лолита», а рядом с какими-нибудь «Джунглями бурлеска» — «1984» и «Скотский хутор». Одной из форм приветствия было у нас: «Хаш! Биг бразер с уотчинг ю» — «Большой Брат следит за тобой». И он следил. Поздновато спокойствия, но следил.

Мы не пропускали ни одного американского фильма, ни одного мероприятия, где так или иначе употреблялось слово «американский», и после фестиваля 1957 года (этой глупости до сих пор не могут простить себе «товарищи») главным событием была для нас, конечно, американская национальная выставка в Сокольниках. Это была Америка, это был украденный у судьбы кусочек мечты. Я помню холодные утра — мы всегда приходили первыми — равнодушные, счастливые физиономии милиционеров и на недосягаемой высоте над ними гордо, и что самое главное, законно развеивающей звездно-полосатый флаг.

Еще до открытия мы перенакомились со всеми гидами, и многие из нас расхаживали в их форменных красных рубашках с двумя накладными карманами. Мы были параллельными гидами и, зная на выставке каждый шуруп, охотно и подробно рассказывали о своей мечте довольно равнодушным, а то и враждебно настроенным «москвичам и гостям столицы».

Не знаю, кто об этом проинформировал первый: КГБ или комсомольские активисты, но на нас устроили настоящую охоту, и пошли бесконечные объяснения и уверения. Зачастую уровень блюстителей был ниже уровня Мертвого моря, и мы ставили их в тупик, переходя на американский язык — в те времена беспричинное задержание иностранца грозило многими бедами.

Это срабатывало в большинстве случаев, но не всегда. В одно из своих сидений в комсомольском оперотряде я прослушал инструктаж рабочих пареньков, получивших бесплатные билеты на выставку.

(Перенос на 6 стр.)

(Перенос с 4 стр.)

Более-менее обтесанный горкомовец обучал наивных рабочих контрапропаганде — заставлял их зазубривать провокационные вопросы и варианты объяснений, почему месячная зарплата в 300 долларов (1959 год) и собственный автомобиль не делают большинство американцев менее нищими, чем они на самом деле есть. Ну, и конечно, фальсифицированный набор рассуждений о безработице, расовой дискриминации и грабеже слаборазвитых стран.

Все это было еще до печально знаменитого полета У-2 и до пленения Френсиса Паузера. Кстати, этот инцидент во все не вызвал бурю негодования. Ворчали больше по поводу кратинизма ракетчиков, пропустивших самолет в сердце страны и умудрившихся за одно сбить советский истребитель.

А потом наступила эра Кеннеди. Сейчас это воспринимается, как сопляческий энтузиазм, но тогда Кеннеди был для нас божеством, символом молодой нации, уверенной в своем будущем и держащей в руках будущее всего мира. Небрежный аристократизм Кеннеди, его безусловная — на фоне солдафона Эйзенхауэра — интеллигентность, его геройское прошлое, даже то (простое создание «имиджа»), что он покупал готовые костюмы, а не шил их на заказ, любая мелочь утверждала его в роли кумира.

Кубинский кризис не вызвал ни страха, ни негодования советских трудящихся. Вся Россия дружно смеялась над осточертившим уже всем Хрущевым, и очень модной была карикатура, изображавшая его в наполеоновской треуголке верхом на ракете с красной звездой в снегах Подмосковья. Джону Кеннеди развязка этой истории только прибавила популярности.

А потом был Даллас. И это было началом конца прекрасной эпохи, конца идеализма и конца ордена штатников.

На набережной у Крымского моста, рядом с институтом международных отношений и плавательным бассейном «Чайка», стоит ничем не примечательный двухэтажный особняк, в котором сейчас по-

# НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ САГА об «айви лиг», «батендауне» и перламутровой пуговице с четырьмя дырками

мешается посольство африканской страны с очень трудным названием. До 1964 года в этом доме функционировал ночной клуб для граждан западных стран. Клуб этот назывался «Америкэн Хауз». Снаружи здание охраняли агенты КГБ, переодетые в милиционную форму. а внутри — здоровенные молодцы с прическами «кру-кат», о которых я уже упоминал. Из случайно подслушанного разговора я узнал, что эти ребята представляли «милитэри секьюрити» — военную безопасность.

На первом этаже лежала потрепанная книга, в которой каждый посетитель должен был расписаться, рядом стоял американский флаг, а винтовая лестница вела в маленький уютный зал, который был типичным американским баром: выпивка, сигареты и никакой закуски. Продавалось все это за рубли. По четвергам в клубе играли в бинго, а по вторникам показывали американские фильмы. Народу было не очень много: дипломаты считали клуб непrestижным, а туристы о нем попросту не знали.

Мы не могли пройти мимо такой блестящей возможности, но, не обладая достаточной наглостью, чтобы выдавать себя за уроженцев Орегона, скромно представлялись шведскими студентами, а в книге гостей без стыда и совести вписывали имена стокгольмских портных или владельцев магазинов, прочитавших на ярлыках блейзеров или плавок (шведские вещи доводились кланом.) Меня в то время звали Карл-Альберт Стремс. Документов молодцы из безопасности не спрашивали, и мы с отрешенностью нахмуренных ныряли в «настоящую заграницу», где, даже при желании, нельзя говорить по-русски.

Мы заключали немыслимые

пари с простодушными американцами, поражая их перечислением в алфавитном порядке всех штатов, не забывая и округ Колумбия, наши «художники» могли часами рассуждать о Джексоне Поллоке, Рое Лихтенштайне или Морисе Раушенберге, наши музыканты знали все концерты и диски «Эм Джи Кью» и оркестра Каунта Бейси, наши филологи могли профессионально говорить о влиянии Мелвилла на Фолкнера, а все мы вместе были американской энциклопедией, пусть и карманного формата. Так или иначе, через какое-то время «секьюрити» узнала, что мы никакие не шведы, но нас уже хорошо знали, и бармен Дэнни без лишних вопросов наливал «дабл стрейт» и протягивал пачку «Честерфилда».

Одного из «секьюрити» вину звали Ник. Это был приятный, неизменно корректный гаваец, и, конечно, он был в курсе нашей родословной. Однажды вечером он — вместо привычного «Хай, свидс!» — развел руками.

Причиной этого и причиной много другого был известный циркуляр госдепартамента, предписывающий всем американским гражданам — туристам, дипломатам, журналистам — свести к минимуму контакты с русскими.

До вступления в силу этого циркуляра каждый американец в Москве был потенциальным другом. Достаточно было пятиминутной беседы, чтобы, уже не церемонясь, отправиться на парти, на пляж, в бани, в подмосковный колхоз, куда угодно, где нет интуристского гида с перечислением ленинских мест столицы и заверениями в том, что капитализм доживает последние дни. Ни одно Рождество, ни один День независимости, даже ни одно 1 мая или 7 ноября (был бы повод) не обходилось у нас

без американских гостей. Американские туристы, побывавшие в Москве в то время, должны об этом помнить. Помимо обязательных фарцовщиков и проституток, с ними непременно знакомились молодые люди, ничем от бостонцев или чикагцев внешне не отличавшиеся. И эти знакомства перерастали в длившуюся и длящуюся настоящую дружбу. Как услышанная в детстве и навсегда запомнившаяся музыка, для меня до сих пор звучат имена: Джон Мэттьюз, Джек Сторм, Ребекка Мур, Пол Крофт, Дорин Таунсенд, Энди Гарвин и многие-многие другие — и не только для меня.

У одного из моих друзей, большего американца, чем член Верховного суда США, была на Пресне однокомнатная квартира. Мы нацепили на дверь плакат с надписью «Американский дом № 2. Вашим единственным документом является батендаун» и звали книгу гостей. Эта книга с десятками имен и записей на память до сих пор жива. Я перелистывал ее за неделю до отъезда из России, и передо мной вставали лица молодых ребят и девчонок из всех американских градов и весей, слишком серьезных и слишком легкомысленных, хиппи и «китников», будущих поэтов и бизнесменов, ученых и скучных клерков, адвокатов и барменов, но тогда еще непоколебимо уверенных в вечном приорите Добра, которое большинство из них именно так и толковало — с большой буквы.

Мы непременно — а кто нет в юности? — говорили о ставших теперь аксиоматичными и неопределенными-далекими вечных проблемах: Любви и Долге, Доброе и Зле, Войне и Мире. Член Корпуса Мира, только что приехавший из Марокко калифорнийец Орв Граймс написал в нашей книге: «Если

ничего больше, то пусть хоть алкоголь спасет мир от войны».

Закрылся «Американский дом» у Крымского моста. Закрылся и наш филиал на Пресне. Госдепартамент — серьезное учреждение, а американцы, в общем, народ дисциплинированный. Наши контакты, если не прекратились, то потеряли непринужденность: исчезла легкость в общении, и появилась, пусть и скрытая, подозрительность.

Никому из нас не приходило в голову сказать, что страна нашей мечты предала нас. Нас предала не страна, а общее наступление прагматизма, перечеркнувшее то, что уже начало оформляться в самостоятельную силу, незначительную, но определенную в своей направленности, а в пропагандистском аспекте — более реальную, чем передачи «Голоса Америки». Мы никогда не ругали советскую власть: ни между собой, ни в разговорах с американцами. Само собой подразумевалось, что эта власть порочна и противостоят.

Между собой у нас не было политических градаций, а американцам мы терпеливо отвечали на самые их невероятные вопросы и можем гордиться тем, что многие из них никогда не назовут себя либералами. Но гораздо важнее было то, что мы делали, общаясь с соотечественниками. Мы не расклеивали листовок и не подписывали воззваний, но мы не упускали ни одной возможности для целенаправленной и терпеливой пропаганды, сводившейся к обыкновенной, и в силу этого притягательной, правде.

Я никого не предаю, сказав, что мы были «пятой колонной» Америки в стане ее врача. Для того, чтобы кого-то предать, нужно, как минимум,вольно или невольно, побывать в лагере предаваемого. Штатники были в штатском лагере. В нем и остались.

Леша Копейкин идет сейчас в своем батендауне по Калининскому проспекту, а я — в своем — по Пятой авеню, но услышав «Хай, гай!», мы оба вспоминаем Сокольники, холодное утро и мачту со звездо-полосатым флагом.